ного богатырства, актуальной в художественной проблематике «Мертвых душ» [4, с. 290; 5, с. 296], значимой для авторской позиции, для диалога автора с читателем. Продолжая в этом плане наблюдения исследователей, можно заметить, что функция притчи в поэме вообще обусловлена принципом контраста, переходом противоположностей (смеха и слез, веселья и печали и т. п.). В поэме, например, важное значение приобретает взаимодействие явного и скрытого аспектов, «существа» и «видимости» в биографии Чичикова, где травестируются жанр жития и образ житийного героя-подвижника [6, с. 98—105].

Не менее значима и травестия эпической темы богатырства и фольклорного образа богатыря в интересующей нас притче. Травестируется в ней и существенная в поэме тема «мудрости» и образ самоуглубленного «философа», человека не от мира сего, погруженного в размышления о вещах несуетных, не пахнущих бытом и злободневностью. Здесь, как и в биографии Чичикова, ставится вопрос о неправильно развернувшихся возможностях, заложенных в человеке, о причинах духовного измельчания современных людей. Но высвечивая контрастный высокий фон, травестия оборачивается в поучение, смех переходит в дидактику, современный комический план притчи — в серьезное нравственно-психологическое обобщение, отнюдь не только современного звучания.

Не проявляется ли в этом жанровая специфика притчи, сохранившей в поэме, подобно другим вошедшим в ее текст древнейшим жанрам, «свою конструктивную упругость и самостоятельность и свое языковое и стилистическое своеобразие» [7, с. 134]? Ведь в притче, как свидетельствует историческая судьба этого жанра, всегда акцентировались моменты вечного, неизменного, непреходящего, описывались и поступки, наделявшиеся абсолютной нравственной значимостью. Притче всегда был свойствен и дидактизм, духовные наставления неотделимы здесь от постановки задачи, решение которой требует рефлексии этического порядка [8, стлб. 20—21].

Действительно, поучающий характер притчи о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче очевиден. Но какую же дидактическую идею проводит автор, к кому он обращается с наставлением, только ли к «патриотам»? Каков же тогда возникающий перед автором образ аудитории, какого рода контакт стремится установить автор с различными типами читателей, составляющих эту аудиторию? [1] И как воплощенные в авторской позиции этические принципы связаны с нравственной проблематикой «Мертвых душ?»

2

В авторском наставлении, следующем непосредственно за рассказом о псевдомудреце и псевдобогатыре, есть и чисто внешнее указание на те этические принципы, которые представляются автору исключительно важными. «А кто из вас,— спрашивает он читателей,— полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуту уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: „А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?“» [1, т. 5, с. 353].

Исследователи отмечали роль христианских представлений в гоголевской поэме, правда, безотносительно к занимающей нас проблеме [11, с. 42]. Заметим, что о «христианском смиренье» говорит не Гоголь, а изображенный им автор, которому и принадлежит повествование в «Мертвых душах». Слово автора о нормах христианской нравственности, которым он призывает следовать, является для Гоголя предметом изображения, хотя и чрезвычайно «интимным», сокровенным. Но для автора эти нормы — само его бытие в художественном мире, поэтому притча как повод для наставления и поучения возникает в авторской речи, надо думать, совершен-

[1] Проблема читателя занимает исключительно важное место в творчестве Гоголя, будь то читатель воображаемый [9] или реальный [10].